Бегство от государства и предотвращение государства: роль размещения, сельского хозяйства и социальной структуры[1]

Дж. Скотт

Джеймс Скотт, профессор политологии и антропологии и соруководитель Программы аграрных исследований Йельского университета; 208209, Нью-Хейвен, CT 06520-8206, США. E-mail: james.scott@yale.edu

Проведенное Джеймсом Скоттом сравнительное изучение зон бегства от государства показывает, что, несмотря на всю их географическую, культурную и временну́ю разбросанность, они обладают рядом общих черт. К какой бы исторической эпохе они ни принадлежали, большинство этих осколочных зон, куда с течением времени устремлялись самые разные группы, отличает особая этническая и лингвистическая сложность и подвижность. Помимо предпочтения особо удаленных и труднодоступных приграничных территорий, переселяющиеся сюда народы, как правило, придерживались таких хозяйственных практик, которые максимально увеличивали их рассеяние, мобильность и сопротивляемость государственному поглощению. Их социальная структура также способствовала пространственному рассредоточению, разделению и переформатированию групп, в результате чего они казались внешнему миру некоей бесформенной массой, в которой отсутствовали явные институциональные рычаги для внедрения проектов унифицированного централизованного управления. И, наконец, многие группы на внегосударственном пространстве отличали сильные, даже жестокие традиции поддержания эгалитаризма и автономии одновременно на поселенческом и родовом уровне, которые эффективно противостояли установлению тирании и устойчивой социальной иерархии. Географическая удаленность, мобильность, подбор сельскохозяйственных культур и технологий земледелия, а также социальная структура без верховной власти и рычагов управления, несомненно, представляют собой приемы избегания государства. Однако народы уклонялись не от отношений с государствами, а от статуса их подданных. Жители государственных периферий старательно избегали жесткого контроля налоговой системы с ее способностью выбивать из подданных прямые налоги и трудовые отработки. Однако зачастую они стремились установить такие отношения с равнинными государствами, которые бы сочетались с высокой степенью политической автономии. Горы (зоны бегства) и равнины (зоны государственности) были дополняющими друг друга агроэкологическими нишами, что, как правило, означало постоянную конкуренцию равнинных государств за возможность получать товары гор и пополнять их жителями собственное население.

1. © Скотт Дж., Троцук И.В. (перевод на русский язык), 2017. Разрешение на публикацию фрагмента книги «Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии» (Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Новое издательство, 2017) было любезно предоставлено журналу «Новым издательством».

Ключевые слова: бегство от государства, избегание государства, географическое размещение, мобильность, сельскохозяйственные культуры, эгалитарная социальная структура, агроэкологические ниши, политическая автономия

DOI: 10.22394/2500-1809-2017-2-4-6-30

Географическое размещение и мобильность

Первый принцип бегства от государства — размещение. Благодаря сопротивлению ландшафта существуют районы, которые почти недоступны даже для ближайших государств. Конечно, можно рассчитать что-то вроде градиента относительной недоступности различных территорий для конкретного рисового государства. Подобный расчет неявно присутствует в описании Клиффордом Гирцем зоны досягаемости так называемого «государства-театра» на Бали. Он отмечает, что «горные правители», поскольку их владения размещались на сложной пересеченной местности, «обладали природным преимуществом в противостоянии военному давлению» (Geertz, 1980: 23). Еще дальше в горы, «на самых больших высотах, можно было встретить несколько обычно занимающихся богарным земледелием сообществ, проживающих вообще за пределами досягаемости каких бы то ни было правителей». Внутри Зомии практически весь юго-запад провинции Гуйчжоу представлял собой, видимо, самую неприступную и недоступную зону с чисто географической точки зрения. Расхожее высказывание о Гуйчжоу гласит, что здесь «не бывает трех ясных дней подряд, не встретишь ровной поверхности даже в три квадратных фута, и ни у кого нет больше трех центов в кармане». Путешественник конца XIX века отметил, что не смог увидеть ни одной повозки за все время своего пребывания в Гуйчжоу — вся торговля, «как она есть, ведется со спин двуногих и четвероногих». Многие районы, считавшиеся доступными только для обезьян, на самом деле были зонами бегства бандитов и мятежников (Jenks, 1994: 11, 21, 131). В заданном контексте местоположение оказывается не чем иным, как одним из способов выражения своей маргинальности по отношению к государственной власти.

В любой длительной исторической перспективе размещение на периферии государства следует рассматривать как осознанный социальный выбор, а не культурно или экологически детерминированную данность. Размещение, как жизненные практики и социальная организация, — величина переменная. Ее изменения нередко наблюдались в истории и были документально зафиксированы. В большинстве случаев таковые представляют собой позиционирование относительно существующих форм государственной власти.

Так, последние научные исследования позволили опровергнуть натуралистическую трактовку таких «безгосударственных» народов, как оранг-асли («коренные жители») Малайзии. Прежде их считали потомками первых волн миграции, менее технологиче-

ски развитыми, чем австронезийское население, которое сформировалось позже и преобладало на полуострове. Однако генетические данные не подтвердили теорию о различных волнах миграции. Оранг-асли (скажем, семангов, темуанов, джакунов, оранг-лаутов), с одной стороны, и малайцев — с другой, корректнее рассматривать не как эволюционную, а как политическую последовательность. Данная концепция была убедительно обоснована в работах Джеффри Беньямина. По его мнению, *родоплеменной строй* в заданном контексте — просто обозначение стратегии бегства от государства, ее полной противоположностью выступает *крестьянство*, понимаемое как система сельскохозяйственной деятельности, встроенная в жизнь государства (*Tribal Communities and the Malay World..., 2002: 7-76*). В трактовке Беньямина большинство «племенных» оранг-асли — на самом деле та часть полуостровного населения, что отказалась от государства. Каждое «племя» в рамках оранг-асли — семанги, сенои и малайские племена (темуаны, оранглауты, джакуны) — олицетворяет несколько отличающуюся от других стратегию уклонения от государства, поэтому тот, кто ее придерживается, автоматически превращается в семанга, сенои и т. д. Аналогичным образом все подобные безгосударственные народы всегда, вплоть до прихода ислама, имели возможность стать малайцами. Многие не преминули ей воспользоваться, и малайскость несет на себе отпечаток этих поглощений. В то же время оранг-асли были и остаются тесно связаны с равнинными рынками отношениями обмена и торговли.

Периферийное размещение — целенаправленная политическая стратегия: «Во-первых,... родоплеменной строй в значительной степени является результатом сознательного выбора, во-вторых... этот выбор существенным образом учитывал наличие основанной на государственности цивилизации (как в современном, так и досовременном мире)... Значит, тем больше у нас причин помнить, что многие племенные народы жили в географически отдаленных регионах по собственному желанию, которое выступало частью стратегии по удержанию государства подальше от себя» (*Tribal Communities and the Malay World..., 2002: 9*).

Второй принцип избегания государства — мобильность, способность менять свое местоположение. Недосягаемость сообщества усиливается, если, вдобавок к размещению на периферии государственной власти, оно может легко перемещаться в более удаленные и выгодные для себя районы. Ровно так же как существует градиент удаленности от центров государств, можно представить и градиент мобильности — от относительно безграничной способности менять свое местоположение до практически полного ее отсутствия. Классический пример пространственной мобильности — это, конечно, кочевое скотоводство. Перемещаясь со своими стадами на протяжении большей части года, подобные кочевники ограничены лишь необходимостью наличия пастбищ, поэтому не имеют себе

равных в способности передвигаться быстро и на большие расстояния. Их мобильность в то же время прекрасно подходит для набегов на государства и оседлые народы. И действительно кочевые скотоводы, объединившись в «племенные» конфедерации, нередко представляли серьезнейшую военную угрозу для оседлых, производящих зерно государств (см., напр.: Barfield, 1993). Впрочем, интересны и важны стратегии избегания государственной власти, возможные благодаря кочевому образу жизни. Так, например, туркмены-йомуты, населявшие окраины персидского государства, использовали свое кочевничество и чтобы грабить выращивающие зерно сообщества, и чтобы избегать воинских повинностей и уплаты налогов персидским властям. Когда против них организовывались широкомасштабные военные кампании, они отступали в пустынно-степные зоны за пределами досягаемости персидской власти вместе со своим скотом и семьями: «мобильность обеспечивала им максимальную защиту от любых попыток персидского правительства установить над ними политический контроль» (Irons, 1974: 647). Даже в условиях, где легко можно было использовать иные хозяйственные практики, они всегда предпочитали сохранять кочевой образ жизни по причине его стратегических преимуществ: гарантируемая политическая автономия, возможность совершать набеги и скрываться от сборщиков налогов и армейских вербовщиков.

В горных районах Юго-Восточной Азии, по экологическим причинам, не сформировались крупные группы скотоводческих народов. Ближайший их эквивалент с точки зрения скорости передвижения — кочевые собиратели. Большинство горных народов ведут образ жизни, в который включены некоторые элементы собирательства и охоты, а потому, в случае крайней необходимости, они могут переключиться на них. Те группы, что в основном занимаются собирательством, проживают в районах, отдаленных от центров государственной власти, их образ жизни требует высокой пространственной мобильности — эта привычка оказывается исключительно полезной в случае опасности. Историки и население равнинных государств обычно считают подобные группы остатками различных и в эволюционном отношении примитивных «племен». Современная наука опровергла это предположение. Собирательство в нынешнюю эпоху отнюдь не является стратегией выживания отсталых народов — это в значительной степени политический выбор или модель адаптации, оберегающая от захвата государством. Терри Рамбо, описывая занимающихся собирательством семангов Малайского полуострова, обозначает достигнутый научный консенсус: «Итак, семанги кажутся нам примитивными не потому, что являются сохранившейся со времен палеолита группой, вытесненной в изолированное, маргинальное укрытие, но скорее потому, что кочевое собирательство как форма адаптации — самая выгодная и надежная стратегия для слабой в оборонительном смысле, численно незначительной этнической группы, проживающей вблизи мощных

в военном отношении и нередко враждебных земледельческих обществ... С точки зрения безопасности подобная адаптация также имеет смысл потому, что кочевников намного сложнее поймать, чем оседлых земледельцев» (Rambo, 1988: 25).

Однако из этого не следует, что крайние формы пространственного рассеяния гарантируют максимальную безопасность. Наоборот, существует минимальный размер группы, уменьшение которого грозит ей новыми опасностями и сложностями. Во-первых, очевидна необходимость защиты от набегов, особенно работорговцев, для чего требуется небольшое сообщество. Отдельное, изолированное поле подсечно-огневых земледельцев более подвержено нападениям вредителей, птиц и прочих диких животных, чем несколько полей, засеянных одновременно вызревающими культурами. Сочетание рисков заболеваний, несчастных случаев, смертей и нехватки продовольствия также говорит в пользу некоторого минимального размера группы. Соответственно, атомизация сообщества каренских беженцев, спасающихся от бирманских военных, была предельным случаем, способным сохраняться лишь очень короткое время. Даже бродячие народы в целях долговременной самозащиты нуждались в формировании групп хотя бы из нескольких семей.

Если жизненные стратегии — результат политического выбора из целого ряда вариантов, то каждая конкретная стратегия предполагает особый тип мобильности. Собирательство, наряду с кочевым скотоводством, гарантирует высочайшую мобильность группам, которые желают держаться от государства как можно дальше. Кочевое (подсечно-огневое) земледелие предполагает меньшую мобильность, чем собирательство, но большую, чем оседлое земледелие на постоянных полях, не говоря уже об ирригационном рисоводстве. Для архитекторов государственного пространства любой значительный отход от поливного рисоводства в центре страны в сторону собирательства, характерного для отдаленных периферийных районов, был угрозой для концентрации рабочей силы и продовольствия, на которой и базировалась государственная власть.

Таким образом, нет поводов полагать, что горные подсечно-огневые земледельцы вели обособленную жизнь в горах, будучи их коренными жителями или по причине своей отсталости, — они жили там, где хотели, и делали ровно то, что считали нужным. По сути, это был исторический выбор многих бывших равнинных жителей, которые спасались в горах от гнета разорительных налогов или угроз порабощения более сильными народами. Их намерения явно просматриваются в их жизненных практиках — они отказались ассимилироваться в обществах равнинных государств и стремились избежать захвата в качестве рабов или подданных государствами и их агентами. Уже в IX веке китайский чиновник на юго-западе страны отметил, что было невозможно расселить «варваров» вокруг центров ханьской государственной власти: они были рассеяны по лесам и ущельям, а «потому им удавалось избе-

гать захвата» (The Man Shu..., 1961: 35). Также не следует упускать из виду привлекательность автономии и относительно эгалитарных социальных отношений, преобладающих в горах, что было столь же важной причиной бегства, как и уклонение от барщины и налогов.

Впрочем, и стремление к независимости не исчерпывает позитивных мотивов предпочтения горными народами своей жизненной ситуации иным альтернативам. Собиратели повсеместно, но прежде всего в самых неблагоприятных природных условиях, оказываются более крепкими и здоровыми, намного реже болеют, особенно эпидемическими зоонозными заболеваниями, чем жители густонаселенных оседлых сообществ. Складывается впечатление, что сельское хозяйство с момента своего возникновения снижало уровень человеческого благополучия, а не повышало его (см., напр.: Christian, 2004; Boserup, 1972; Sahlins, 1974). Тогда как кочевое земледелие, благодаря своему разнообразию и обеспечиваемому им рассеянию населения, скорее способствует улучшению здоровья, пока имеется достаточно земель. Образ жизни в горах может быть весьма привлекательным из соображений лучшего здоровья и большего количества свободного времени. Запрет раннекитайского государства своим подданным заниматься собирательством и подсечно-огневым земледелием может свидетельствовать о подобной привлекательности, как и широко распространенное убеждение горных народов, что жизнь на равнинах вредна для здоровья. Эта уверенность явно базируется на чем-то большем, чем тот факт, что комаров — переносчиков малярии крайне редко обнаруживали на территориях выше девятисот метров над уровнем моря. Иными словами, угрозы со стороны равнинных государств ограничивались не только рабовладельческими набегами и сбором дани, но и включали в себя невидимых глазу микробов.

Сельское хозяйство беглецов

> Не выращивай виноград — будешь несвободен
> Не выращивай зерно — будешь привязан к земле
> Лови верблюдов, паси овец
> Наступит день — будет на твоей главе царский венец
>
> *Из песни кочевников (Khazeni, 2005: 377)*

Любые попытки рассмотреть историю становления социальной структуры и хозяйственных практик как принятие осознанных политических решений наталкиваются на сопротивление доминирующего цивилизационного нарратива. Он представляет собой описание хронологически последовательных этапов экономического, социального и культурного прогресса. С точки зрения стратегий обеспечения средствами существования предлагаемые им истори-

ческие переходы от примитивного к развитому состоянию выглядят следующим образом: собирательство/охота-собирательство, кочевое скотоводство, садоводство/подсечно-огневое земледелие, оседлое сельское хозяйство на постоянных полях, ирригационное плужное земледелие, промышленное сельскохозяйственное производство. С учетом трансформаций социальной структуры от самых примитивных до современных ее форм исторические этапы развития общества таковы: небольшие группы в лесах и на равнинах, деревушки, села, малые города, крупные города, мегаполисы. Конечно, речь идет о двух аналогичных эволюционных последовательностях, которые фиксируют все возрастающую концентрацию сельскохозяйственного производства (урожайность на единицу площади земли) и населения в крупных агломерациях. Будучи впервые оформлен Джамбаттиста Вико в начале XVIII века, данный нарратив обрел свой доминирующий статус благодаря не только соответствию социальному дарвинизму, но и тому, что прекрасно вписался в те истории, что большинство государств и цивилизаций рассказывает о себе. Лежащая в его основе модель предполагает движение лишь в одном-единственном направлении — все большей концентрации населения и интенсивного зернового производства, никаких откатов назад не допускается, каждый новый шаг по пути прогресса считается необратимым.

Как эмпирическое описание тенденций демографического и сельскохозяйственного развития в теперь уже индустриальном мире последних двух столетий (и пятидесяти лет в беднейших странах), данная модель имеет множество подтверждений. В Европе безгосударственные («племенные») группы по чисто практическим соображениям исчезли уже к началу XVIII века, а в беднейших странах они сокращаются и находятся в тяжелом политико-экономическом положении.

Однако как эмпирическое описание досовременной Европы или большинства беднейших стран до начала XX века, а также горных районов в материковой части Юго-Восточной Азии, данный нарратив не соответствует действительности. Лежащая в его основе модель исторического процесса не просто предлагает его самодовольное нормативное изображение, но и утверждает неуклонное продвижение к всеобъемлющему поглощению мира государственными структурами. Поэтому здесь стадии цивилизационного развития в то же время фиксируют все сокращающуюся автономию и свободу. Вплоть до недавнего времени множество обществ и групп отказывались от оседлого земледелия в пользу подсечно-огневого и собирательства. Точно также они изменяли свои системы родства и социальную структуру и распадались на все меньшие и меньшие рассеянные поселения. Археологические находки в полуостровной части Юго-Восточной Азии говорят о постоянных колебаниях в долгосрочной исторической перспективе от собирательства к земледелию и обратно, видимо, в зависимости от обстоятельств. То, что

Вико счел бы прискорбным регрессом и упадком, для ряда групп и обществ выступало стратегическим решением проблемы избегания множества тягот жизни в подчинении государственной власти.

Многие весьма примитивные народы сознательно отказывались от оседлого сельского хозяйства и политического подчинения, чтобы вести свободную жизнь. Многие оранг-асли в Малайзии — яркий тому пример, но и в истории Нового Света после Конкисты документально зафиксировано несколько поразительных случаев. Французский антрополог Пьер Кластр первым отметил, что многие «племена» охотников и собирателей Южной Америки нельзя считать отсталыми, поскольку прежде они жили в государственных образованиях и занимались оседлым сельским хозяйством, но целенаправленно отказались от таковых, чтобы избежать порабощения (Clastres, 1987). Кластр утверждает, что они были способны производить большие экономические излишки и создавать крупномасштабные политические структуры, но решили не делать этого, чтобы жить за пределами государственных систем. Испанцы презрительно называли их народами «без бога, закона и короля» (в отличие от инков, майя и ацтеков), но эти народы решили создать относительно эгалитарный социальный порядок, в котором вожди имели незначительную или вообще никакой власти над ними.

Точные причины, почему подобные группы перешли к собирательству и жизни небольшими поселениями, до сих пор являются предметом споров. Видимо, несколько факторов сыграли тут свою роль. Во-первых, это катастрофический демографический коллапс — порядка 90% коренного населения умерло от завезенных европейцами болезней. Это означало не только разрушение прежних социальных структур на опустошенных землях, но и то, что выжившие получили в свое распоряжение просторные территории для собирательства и подсечно-огневого земледелия (Mann, 2005). В то же время многие бежали из печально известных испанских редуксьон (резерваций), призванных превратить их в наемных работников, а также от эпидемий, характерных для подобных концентраций населения.

Хрестоматийный пример — индейское племя сирионо в Восточной Боливии, впервые описанное Алленом Холмбергом в его классической антропологической работе «Кочевники длинного лука». Очевидно, не способные получать огонь и изготавливать ткани, живущие в грубых убежищах, не знающие основ математики и точных наук, не имеющие домашних животных и не создавшие развитой космологии, они, по мнению Холберга, были потомками населения палеолита, сохранившими свое естественное природное состояние (Holmberg, 1950). Однако сегодня известно, что сирионо жили в селах и выращивали сельскохозяйственные культуры примерно до 1920 года, когда эпидемии гриппа и оспы прокатились по их деревням и уничтожили большую часть населения. Будучи атакованы численно превосходящими их народами и спасаясь от гро-

зящего им рабства, сирионо, видимо, оставили свои поля — они были слишком малочисленны и не могли защитить их. Чтобы сохранить независимость и выжить в сложившихся обстоятельствах, им пришлось разделиться на небольшие группы, занимающиеся собирательством и оставляющие свои поселения в случае опасности. Время от времени они нападали на деревни оседлых земледельцев, чтобы разжиться тесаками, топорами и мачете, но очень боялись после набегов принести с собой болезни. Сирионо сознательно отказались от оседлого образа жизни — чтобы сберечь себя от эпидемий и захватов (Mclean Stearman, 1984). Группа многочисленных индейских земледельческих народов тупи-гуарани в XVII веке десятками тысяч спасалась от тройной угрозы — иезуитских редуксьон, рабовладельческих набегов португальцев и метисов, намеренных отправить их работать на прибрежные плантации, и эпидемий (White, 1991). Лишенному исторического воображения взгляду позже они стали казаться отсталым, технологически неразвитым народом — остатками аборигенных племен. На самом же деле они адаптировались к более мобильному образу жизни как способу избежать рабства и болезней, навязываемых им цивилизацией.

Другой пример создания сельского хозяйства беглецами от государства в Новом Свете — сообщества маронов, африканских беглых рабов, которые основывали поселения за пределами досягаемости рабовладельцев. Эти сообщества различались своими размерами — от Пальмареса в Бразилии с примерно двадцатью тысячами жителей и нидерландской Гвианы (Суринам) с той же или большей численностью до небольших поселений беглецов по всему Карибскому бассейну (на Ямайке, Кубе, в Мексике, Сан-Доминго), а также во Флориде и на границе штатов Виргиния и Северная Каролина в районе Великого мрачного болота (Maroon Societies..., 1979).

Беглые рабы сосредоточивались именно в тех труднодоступных районах, где их было сложно обнаружить, — на болотах, в скалистых горах, глухих лесах и бездорожных пустошах. Если была такая возможность, то они предпочитали защищенные, хорошо обороняемые местоположения, куда можно было попасть по одной-единственной дороге или проходу, которые можно было перекрыть колючим кустарником и ловушками и легко отслеживать передвижения по ним. Мароны готовили пути отхода на случай своего обнаружения и неспособности отбить нападение. Подсечно-огневое земледелие, дополненное собирательством, торговлей и воровством, было самым распространенным способом выживания маронов. Они предпочитали высаживать корнеплодные культуры (например, маниоку/кассаву, ямс и сладкий картофель), поскольку те были неприметны и их можно было оставить в земле и собрать урожай в удобное время. В зависимости от степени безопасности конкретного местоположения, мароны могли высаживать и более постоянные культуры, такие как бананы, плантайны, суходольный рис, кукурузу, арахис, тыкву и овощи, но их урожай лег-

че было украсть или уничтожить. Одни сообщества маронов оказались недолговечны, другие сохранялись на протяжении поколений. Находясь по определению вне рамок закона, многие из них частично выживали за счет грабежей ближайших поселений и плантаций. Вряд ли хотя бы одно сообщество маронов было самодостаточным. Занимая только те агроэкологические зоны, где они могли получать ценные продукты, многие поселения маронов оказались глубоко интегрированы в крупные экономические сети подпольной и открытой торговли.

Подбор культур в сельском хозяйстве беглецов

Логика формирования сельского хозяйства беглецов и сопротивления захвату государством применима не только к технологическому комплексу, объясняя предпочтение подсечно-огневого земледелия, но и к выбору конкретных культур. Противодействие подсечно-огневого земледелия государственному захвату обусловлено его использованием в горных районах, рассеянием населения и ботаническим разнообразием. Для подсечно-огневых земледельцев не редкость выращивание шестидесяти и более сортов, а также стремление и призывы к подобному разнообразию. Представьте себе, со сколь невообразимо сложной задачей сталкивались даже самые энергичные сборщики налогов, которые пытались каталогизировать объекты налогообложения, не говоря уже об их оценке и сборе налогов в подобных условиях (Conkin, 1957). Прибавьте сюда то, что большинство подсечно-огневых земледельцев также занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством в ближайших лесах. Используя столь внушительный набор стратегий выживания, они распределяли риски, обеспечивали себе разнообразный и питательный рацион и представляли почти неразрешимую загадку для любого государства, которое хотело их поглотить (Burns, 2003).

Сельскохозяйственные культуры имеют характеристики, которые делают их менее или более устойчивыми к государственному присвоению. Те из них, что не могут долго храниться и быстро портятся, как свежие фрукты и овощи, или те, чья цена за единицу веса и объема низка, как у большинства тыквенных, корнеплодных и клубневых культур, не оправдывают затраченных сборщиком налогов усилий. В целом корнеплоды и клубневые растения, такие как ямс, сладкий и обычный картофель и кассава/маниока/юкка, практически гарантированы от захвата. Когда они созревают, их можно смело оставлять в земле на срок до двух лет и выкапывать понемногу по мере необходимости, — здесь не нужны овощехранилища, которые можно разграбить. Если армия или сборщики налогов хотят изъять ваш картофель, например, им придется выкапывать его клубень за клубнем. Измученные неурожаями и разорительными

закупочными ценами на культуры, рекомендованные бирманским военным правительством в 1980-е годы, многие крестьяне тайно выращивали сладкий картофель, что было строжайше запрещено. Выбор сладкого картофеля был обусловлен тем, что его урожай легче скрыть и практически невозможно изъять. Ирландцы в начале XIX века выращивали картофель не только потому, что так можно было обеспечить себе калорийное питание с небольших наделов земли: его нельзя было конфисковать или сжечь, его выращивали на небольших холмах, и английский всадник рисковал переломать своей лошади ноги, если бы пустил ее галопом через картофельное поле.

Опора на корнеплоды, особенно картофель, может оградить и государства, и безгосударственные народы от хищнических военных разграблений и присвоений урожая. Вильям Макнил связывает расцвет Пруссии в начале XVIII века с картофелем. Вражеские армии могли захватить или уничтожить зерновые поля, сельскохозяйственных животных и растущие над землей кормовые культуры, но были бессильны против скромного картофеля. Именно картофель обеспечил Пруссии ее уникальную неуязвимость перед лицом иностранных вторжений. В то время как выращивающему зерновые населению, чьи запасы зерна и урожай конфисковывались или уничтожались, не оставалось ничего иного, как разбежаться и умереть с голоду, специализирующееся на клубневых культурах крестьянство могло вернуться домой сразу после того, как военная угроза миновала, и выкопать свой главный в ту эпоху пищевой продукт (McNeill, 2007: 176-189).

При прочих равных сельскохозяйственные культуры, которые можно возделывать на приграничных территориях или больших высотах (например, кукуруза), способствуют бегству от государства, потому что предоставляют своим земледельцам больше возможностей для рассеяния и спасения. Культурные сорта, которые неприхотливы и/или быстро вызревают, также помогают ускользать от государства, поскольку гарантируют большую мобильность, чем трудоинтенсивные и долго вызревающие. Незаметные низкорослые культуры, которые сливаются с окружающей природной растительностью, государствам сложно заметить, а потому и присвоить. Чем шире разбросана культура по местности, тем труднее ее изъять, как и сложно захватить рассеянное население. В той степени, в какой подобные культуры формируют сельскохозяйственный набор подсечно-огневых земледельцев, последние оказываются недоступны для налогообложения государствами и разграбления бандитами и считаются «не заслуживающим внимания», т. е. безгосударственным пространством.

До завоза в Юго-Восточную Азию сельскохозяйственных культур из Нового Света несколько произрастающих на больших высотах зерновых обеспечивали жаждущим независимости от государства возможности для бегства и маневра. Овес, ячмень, быстрорастущее просо и гречиха хорошо переносили бедные

почвы, большие высоты и короткий вегетационный период, как капуста и репа, что позволяло селиться на более высоких горных склонах, чем в случае занятий рисоводством. Корнеплодные и клубневые культуры Старого Света, таро и ямс, как и саговая пальма, тоже благоприятствовали расселению безгосударственных народов.

Сельское хозяйство беглецов претерпело радикальные трансформации с начала XVI века после завоза растений из Нового Света. Прежде всего, как и многим другим «экзотическим растениям», перенесенным в абсолютно новые экологические условия, первоначально им не угрожали те вредители и болезни, от которых они страдали в своих домашних природных нишах, поэтому они стали буйно разрастаться. Данное преимущество, наравне с другими, объясняет, почему эти культуры с таким рвением стали возделывать в большинстве регионов Юго-Восточной Азии, особенно те, кто стремился жить за пределами досягаемости государств. Так, сладкий картофель быстро распространился по всей голландской Ост-Индии к 1670 году, чему способствовали такие его достоинства, как высокие урожаи, устойчивость к болезням, питательная ценность и хороший вкус. Но его значение как сельскохозяйственной культуры бегства определялось тремя другими характеристиками: он быстро вызревал, давал более высокую калорийность в пересчете на затраты труда, чем местные сорта съедобных корнеплодов и клубневых культур, и, что сыграло решающую роль, его можно было выращивать на больших высотах, чем ямс и таро. Сладкий картофель способствовал бегству от государства тем, что повысил численность населения в высокогорных районах, где его выращивание часто (как и в Новой Гвинее) сочеталось со свиноводством. Его роль как сельскохозяйственной культуры беглецов оказалась еще более очевидна на Филиппинах, где испанцы видели в нем причину кочевого образа жизни игоротов, которых они не могли ни сосчитать, ни заставить вести оседлую жизнь. Любая сельскохозяйственная культура, которая позволяет людям перемещаться в прежде недоступные районы и гарантирует их выживание там, по определению стигматизируется государством.

Однако нельзя забывать, что сколь бы обособленную жизнь ни вели горные народы или сообщества маронов, они никогда не могли полностью обеспечить себя всем необходимым. Практически все эти группы выращивали, охотились или собирали ценные продукты, которые можно было обменять или продать на рынках равнинных государств. Они стремились использовать все возможности торговли и обменов, сохраняя при этом политическую независимость. В исторической перспективе в список подобных ценных товаров входили хлопок, кофе, табак, чай и прежде всего опий. Эти культуры требовали значительного труда и некоторой степени оседлости, но если выращивающие их сообщества находились вне пределов досягаемости государства, то вполне сочетались с политической автономией.

Для любой сельскохозяйственной культуры можно примерно рассчитать ее пригодность для бегства от государства. Построить порядковую шкалу по критерию «способствования бегству» вряд ли возможно, поскольку такие показатели, как трудоинтенсивность, зимостойкость и срок сохранности, не поддаются однозначной оценке. Однако учитывая особенности конкретной агроэкологической ниши, можно осуществить некоторое условное сравнение и объяснить, почему две сельскохозяйственные культуры, кукуруза и кассава (также известная как маниока или юкка), завезенные из Нового Света, стали цениться — за их способствующие бегству от государства характеристики. Если бы вам нужно было придумать сельскохозяйственную культуру беглецов, вряд ли вам в голову могло прийти что-то лучше, чем кукуруза: она не только обеспечивает бо́льшую калорийность урожая в пересчете на единицу вложенного труда и возделываемой земли, чем горный рис, но и дает более стабильные урожаи, выдерживая более сложные погодные условия. Кукурузу можно высаживать среди других культур, она быстро вызревает, ее можно использовать в кормовых целях, будучи высушена, она хорошо хранится и по питательным характеристикам превосходит горный рис. Самое главное для нас, что ее можно выращивать в районах, которые расположены слишком высоко или на слишком засушливых и непригодных для горного риса почвах. Эти характеристики позволяли и горным народам, и жителям равнин осваивать новые территории, которые прежде считались непригодными для проживания. Теперь можно было селиться в самых верховьях рек, на высоте в тысячу двести метров и выше, получив в свое распоряжение надежную продовольственную культуру. В труднодоступных местах, где сопротивление расстояния обеспечивало некоторую сохранность поселений, теперь можно было вести почти оседлый образ жизни вне сферы досягаемости государства. На плоскогорьях, где прежде в течение длительного времени сообщества занимались ирригационным рисоводством, они получили возможность осваивать близлежащие холмы за пределами центра рисового государства. Причины оставления государственных пространств могли быть различны — религиозная рознь, война, барщина, технологии земледелия, насильно навязываемые колониальными властями, эпидемии, рабство — но всегда кукуруза оказывалась ценной культурой для потенциальных беглецов (Diamond, 1995; Fiskesjö, 1999).

Несомненно, чемпионом среди сельскохозяйственных культур беглецов Нового Света была кассава. Как и кукуруза, она быстро распространилась по всей морской и материковой Юго-Восточной Азии, потому что может расти практически везде в поражающих своим разнообразием условиях. Этот крупный корнеплод столь вынослив и самодостаточен, что сдержать его распространение сложнее, чем культивировать. Кассава идеальна для открытия новых земель, устойчива к засухам, может произрастать на почвах, на ко-

торых не выживают никакие иные культуры; как и у других завезенных из Нового Света сортов, у нее мало природных врагов; в отличие от таро и сладкого картофеля, ее не любят дикие свиньи. Недостаток у кассавы один — она не растет на больших высотах, в отличие от кукурузы и картофеля, и никаким другим образом не ограничивает возможности расселения и территориальной мобильности кочевого народа.

Кассава обладает всеми характеристиками корнеплодных и клубнеплодных сельскохозяйственных культур беглецов. Хотя она не созревает так же быстро, как, скажем, сладкий картофель, ее можно оставить дозревать в земле и выкапывать по мере необходимости. Сочетание повсеместности произрастания и выносливости с тем фактом, что только надземная часть кассавы может быть уничтожена огнем, снискали ей звание *farina de guerra* — «продукт/мука войны» — в испаноговорящем мире: партизаны в данном случае представляют собой предельный случай бегущего от государства мобильного населения. Еще одно важное достоинство кассавы — после сбора урожая ее можно переработать в некое подобие муки (тапиоку) и хранить некоторое время. И сами клубни, и муку можно продавать на рынке.

Впрочем, самым удивительным свойством кассавы, видимо, является ее общепризнанный статус сельскохозяйственной культуры, для получения максимального урожая которой нужно минимальное количество труда. По этой причине ее очень ценили кочевые народы, которые могли высадить кассаву, уехать, а затем вернуться практически в любое время через год или два и выкопать урожай. В то же время у кассавы и съедобные листья. Она позволяет земледельцам занять практически любую экологическую нишу, вести более или менее кочевой образ жизни и обходиться без огромных трудовых затрат. Благодаря своим удивительным достоинствам как сельскохозяйственной культуры кассава стала самым распространенным корнеплодом, вытеснив сладкий картофель, который, в свою очередь, ранее пришел на смену ямсу.

Для рисовых государств — как доколониальных, так и колониальных — подобная общедоступная и трудосберегающая сельскохозяйственная культура, хотя и ценная в тяжелые времена как голодный продукт, представляла явную угрозу. Интересам политической власти наилучшим образом отвечало максимальное расширение рисовых полей или, если это было невозможно, выращивание иных, важных с финансовой точки зрения экспортных культур, таких как хлопок, индиго, сахарный тростник и каучук, нередко с использованием рабского труда. Сельскохозяйственные культуры беглецов, завезенные из Нового Света, сделали экономическую сторону безгосударственной жизни столь же соблазнительной, как и политическая. Колониальные чиновники стремились всячески стигматизировать кассаву и кукурузу как сельскохозяйственные культуры ленивых туземцев, любыми способами отлынивающих от работы.

И в Новом Свете те, чья задача состояла в вовлечении населения в систему наемного труда и его сгоне на плантации, клеймили те культуры, что позволяли свободному крестьянству сохранить независимость. Владельцы гасиенд/имений в Центральной Америке утверждали, что благодаря кассаве единственное, что было нужно крестьянину — ружье и рыболовный крючок, и он переставал регулярно работать по найму (Edelman, 1998).

Кассава, как многие другие корнеплодные культуры, оказывает серьезное влияние на социальную структуру, которая, в свою очередь, способствует ускользанию от государства. Это влияние поразительным образом противоположно тому, что оказывают зерновые культуры в целом и ирригационное рисоводство в частности (O'Connor, 1996). Специализирующиеся на выращивании поливного риса сообщества живут в одном ритме: посадка, пересадка и сбор урожая, и связанные с ними ритуалы требуют четкой координации усилий, как и контроль уровня воды. Сотрудничество в налаживании ирригации, наблюдение за вызреванием урожая и совместный труд всегда приносят плоды, но только в том случае, если не являются обязательно-принудительными. Иначе обстоит дело с корнеплодами, например, сладким картофелем и кассавой: посадка и сбор урожая производятся на более или менее постоянной основе в соответствии с решениями и потребностями семейного домохозяйства. Агрономические особенности этих культур требуют незначительного или вообще никакого взаимодействия земледельцев. Сообщество, которое выращивает корнеплодные и клубнеплодные культуры, может рассеиваться на больших территориях и нуждается в меньшем уровне взаимодействия, чем зерновые земледельцы, а потому в первом случае возникает социальная структура, устойчивая к поглощению государством и, видимо, к формированию иерархий и отношений подчинения.

Социальная структура беглых сообществ

Социальная структура, как и сельскохозяйственные технологии, не является данностью — это всегда выбор, особенно в исторической перспективе. В значительной степени этот выбор является и политическим. Периферийные политические структуры в материковой части Юго-Восточной Азии всегда приспосабливались к государственным системам в своем ближайшем окружении. При определенных условиях эти структуры, вернее, составлявшие их живые акторы, могли регулировать свое взаимодействие с окружающими государствами таким образом, чтобы облегчить заключение с одними из них союзов или свое поглощение другими. В иных случаях периферийные политические структуры могли делать все возможное, чтобы избавиться от необходимости платить дань соседним государствам и выйти из их подчинения.

Социальную структуру следует рассматривать не как неизменную характеристику конкретного сообщества, но скорее как переменную величину, одна из задач которой — регулирование взаимоотношений с окружающим властным полем. Никто не смог обозначить эту ситуацию четче, чем Ф.К. Лиман в исследовании народа кая на востоке Бирмы. Отметив маятниковый характер изменений социальной структуры с течением времени, он обратил внимание на правила, которые проясняли логику этих трансформаций: «На самом деле невозможно понять смысл поведения кая или любого другого горного народа в Юго-Восточной Азии, не учитывая его социальной структуры... Похоже, это неотъемлемая черта подобных обществ: они меняют свою социальную структуру, а иногда и свою "этническую" идентичность, в ответ на периодические трансформации своих взаимоотношений с соседними цивилизациями» (Lehman, 1967: 59).

В целом если общество или его часть принимает решение избежать поглощения или захвата, то переходит в формат более простых, меньших по размерам и более пространственно рассеянных социальных единиц, т. е. к элементарным формам социальной организации. Самые устойчивые к поглощению социальные структуры, пусть и не способствующие коллективным действиям любого рода, — небольшие группы домохозяйств без руководящей верхушки («обезглавленные»). Подобные формы социальной организации, наряду со столь же устойчивыми к захвату видами сельского хозяйства и расселения, неизбежно считаются «варварскими», «примитивными» и «отсталыми» равнинными рисовыми «цивилизациями». Неслучайно оценка как более или менее цивилизованного сельского хозяйства или социальной организации отражает их пригодность, соответственно, к захвату и подчинению.

Одна из причин, почему племена часто оказываются стабильными, долговременными, генетически и культурно устойчивыми образованиями, заключается в том, что государства обычно заинтересованы в них и со временем во все большей степени влияют на их базовые характеристики. Племя может внезапно возникнуть как результат политической предприимчивости или формирования политических идентичностей и «миграционных траекторий», которые государство регулирует, распределяя награды и наказания. В любом случае существование племени зависит от его взаимоотношений с государством. Правители и институты государства нуждаются в стабильной, надежной, иерархической, «постижимой» социальной структуре, с которой можно договариваться или управлять. Им необходим собеседник, партнер, которого можно использовать в собственных интересах, от кого можно требовать верности, через кого можно транслировать свои распоряжения, кого можно назначить ответственным за политический порядок, кто может поставлять им зерно и дань. Поскольку племенные народы, по определению, находятся за пределами прямого контроля

государства, ими следовало управлять, если это в принципе было возможно, через их лидеров, которые могли выступать от лица своих племен и, в случае необходимости, стать заложниками. Те образования, что мы называем «племенами», редко обладают той устойчивостью, что им приписывает государственническое воображение. Это искажение действительности обусловлено не только официальными моделями идентичности, изготавливаемыми государством, но и стремлением этнографов и историков получить в свое распоряжение социальные идентичности как внутренне согласованный объект описания и анализа. Очень сложно всесторонне охарактеризовать, не говоря уже о том, чтобы им управлять, социальный организм, который все время то попадает, то исчезает из фокуса.

Когда безгосударственные народы (известные также как племена) сталкиваются с принуждением к политическому и социальному инкорпорированию в государственную систему, их реакции могут быть различны. Племя или его отдельная часть может быть мягко или жестко поглощена в качестве данника с назначенным лидером (косвенное управление). Конечно, племя может бороться за независимость, особенно если речь идет о военизированных скотоводах. Племя может самоустраниться. И, наконец, оно способно посредством разделения, рассеяния и/или изменения своих жизненных практик стать невидимым или непривлекательным для поглощения объектом.

Последние три стратегии — формы сопротивления и уклонения от государства. Вариант военного противостояния крайне редко, за рядом исключений, был доступен безгосударственным народам Юго-Восточной Азии. Самоустранение часто предполагало переход к подсечно-огневому земледелию или собирательству. Последняя стратегия — социальной реорганизации. Она предполагает разбиение на минимальные единицы, чаще всего домохозяйства, и нередко сопровождается использованием хозяйственных практик, оптимальных для выживания небольших рассеянных групп. Эрнест Геллнер характеризует подобный осознанный выбор берберов с помощью девиза «разделяйся, чтобы не подчиняться». Этот блестящий афоризм показывает, что римский лозунг «разделяй и властвуй» перестает срабатывать при определенном уровне атомизации. Описывающий ту же стратегию уклонения от государства термин Малкольма Яппа *медузообразные племена* столь же удачен: он подчеркивает, что в результате разукрупнений потенциальный правитель получал в свое распоряжение аморфную и неструктурированную человеческую массу, в которой отсутствовали точки воздействия и рычаги управления (Gellner, 1969; Yapp, 1980). Османы полагали, что легче иметь дело со структурированными общинами, пусть даже христианскими и иудейскими, чем с еретическими сектами, не обладающими властной верхушкой и четкой организационной структурой. Наибольшие их опасения вызывали

такие формы автономии и инакомыслия, как, например, мистические дервишеские ордена, которые, видимо, целенаправленно избегали любых коллективных поселений и однозначно идентифицируемого лидерства, чтобы ускользать от османского полицейского контроля (Barkey, 2008). Сталкиваясь с подобными ситуациями, государство, как правило, стремится найти союзника и создать институт вождей. Хотя обычно кто-то заинтересованный обязательно использовал эту возможность в своих интересах, ничто не могло помешать его потенциальным подданным его игнорировать.

Элементы племенной структуры похожи на кирпичи: они могут быть разбросаны или лежать кучами без малейших признаков структуры, а могут быть соединены вместе, чтобы образовать крупную, иногда огромную племенную конфедерацию. Социальная структура в значительной степени является одновременно эффектом государства и политическим выбором, и один из возможных его вариантов — формирование невидимой и/или непонятной для государственных органов социальной структуры. Так, аморфный характер монгольской социальной структуры и отсутствие в ней «нервных центров» рассматривались Оуэном Латтимором как факторы, предотвратившие китайскую колонизацию (Lattimore, 1962: 415). В этнических, миграционных осколочных зонах идентичности многообразны: местное население не столько постоянно меняло свою идентичность, сколько подчеркивало тот или иной аспект культурного и лингвистического самоопределения, который допускал формирование различных идентичностей. Неопределенность, множественность и взаимозаменяемость идентичностей и социальных единиц обладали рядом явных политических преимуществ, допуская разнообразные форматы взаимодействия и дистанцирования от государств и других народов (Schwartz, Salomon, 1999). Исследования кочевых скотоводческих групп, таких как туркмены на ирано-российской границе или калмыки в России, подтверждают их способность распадаться на части или небольшие независимые элементы, если вдруг это оказывалось выгодно: «их политическая форма может сохранить черты примитивного организма — будучи защищена экзоскелетом верховной власти, она остается простейшей и сегментированной под этим прикрытием» (Sahlins, 1968: 64).

Ряд характеристик подобных сообществ, видимо, способствовал, а в некоторых случаях и требовал создания социальной структуры, которая могла быть разбита на множество элементов, а затем вновь собрана воедино. Наличие такой общественной собственности, как пастбища, охотничьи угодья и пригодные для подсечно-огневого земледелия территории, позволяло группам выживать и в то же время препятствовало формированию крупных и устойчивых различий в уровне благосостояния и статусных позициях, которые характерны для наследуемой частной собственности. Столь же важен был и пестрый набор хозяйственных стратегий — собирательство, подсечно-огневое земледелие, охота, торговля, разведение домаш-

него скота и оседлое сельское хозяйство. Каждая из них порождала конкретные формы социального взаимодействия, определяла численность групп и параметры поселений. В совокупности эти стратегии обеспечивали особый тип практического опыта или устойчивый порядок целого ряда вариантов социальной организации. Смешанный набор хозяйственных технологий порождал и смешанный набор социальных структур, которые легко актуализировались, если гарантировали политическую, как, впрочем, и экономическую выгоду (Ericson, 1997).

Отказ от государственности и устойчивых иерархий

Любое государство с амбициями контроля частей Зомии — ханьские чиновники в провинциях Юньнань и Гуйчжоу, тайский двор в Аюттайе и бирманский в Аве, шанские князья (собва), британский колониальный режим и независимые национальные правительства — стремилось заручиться поддержкой местных вождей или же, в случае отсутствия таковых, сформировать институт вождей, с которыми оно могло иметь дело. Британский колониальный режим, как и другие государства, как правило, навешивал на демократичные, анархические народы ярлыки «диких», «примитивных», «сырых» в противовес их «покоренным», «приготовленным», «культурным» аристократическим соседям, даже если последние говорили на том же языке и имели схожую культуру. Устойчивое косвенное управление анархическими «медузообразными» племенами было практически невозможно. Даже усмирение их было задачей сложной и никогда полностью нерешаемой. Главный комиссар Британской Бирмы с 1887 по 1890 год отмечал, что завоевание территорий качинов и палаунгов происходило «холм за холмом», поскольку эти народы «никогда не подчинялись какому бы то ни было централизованному контролю». Чины для него стали столь же большим разочарованием. «Единственной их системой управления были старосты деревень или, в лучшем случае, небольшой группы деревень, вследствие чего переговоры с чинами как народом были невозможны» (Crosthwaite, 1912: 236, 287).

Опасаясь непокорных и ненадежных чинов, британцы начали вводить институт вождей в «демократических» чинских районах, полагаясь на них как гарантов выполнения своих распоряжений. Колониальная поддержка позволяла вождям организовывать роскошные общинные празднества, которые в подобных «обществах пиршеств» подкрепляли их относительно высокий статус по сравнению с остальными. В результате возник новый синкретический культ, который отверг прежние общие праздники, но развил традицию индивидуальных пиршеств, призванных повышать личный статус, хотя и не только его. Культ Пау Чин Хау за короткое время распространился по всему Занниату (демократичной племенной

зоне), охватив более четверти чинского населения в этом административном районе (Kirsch, 1973: 32).

Ва, считавшиеся самым жестоким горным народом с репутацией похитителей голов, как и «демократичные» чины и качины со своей системой гумлао, обладали исключительно эгалитарной социальной структурой. Они подчеркивали равенство доступа к празднованиям и конкурентной борьбе за статусы, запрещая тем, кто уже достиг почета или богатства, приносить дальнейшие жертвы, за исключением случая, когда человек добивался позиции вождя. Как отмечает Магнус Фискесйо, подобный эгалитаризм конструировался как стратегия ускользания от государства: «эгалитаризм ва, ошибочно истолковываемый как свойство "примитивного" общества в китайской и иных эволюционных моделях, следует воспринимать как способ избежать краха собственной автономии под давлением угроз со стороны великих держав, что возникли на горизонте: тех (того) государств(а), которые стремились обложить ва данью или налогами, что уже было сделано ими в промежуточной буферной зоне (играла роль «антиварварской» оборонительной стены, которые распространены повсеместно в Китае)» (Fiskesjö, 2000: 217).

Другим возможным ответом на принуждение к политическому структурированию, посредством которого государство могло осуществлять контроль и управление, было лицемерие — внешнее соответствие требованиям, создание подобия верховной власти, которая по сути таковой не являлась. Видимо, именно так поступили лису в Северном Таиланде. Потемкинский характер института управления здесь очевиден благодаря тому факту, что старостой в деревне неизменно оказывался человек без какой-либо реальной власти, а не уважаемый пожилой мужчина, богатый и обладающий способностями вождя (Dessaint, 1998: 29). Схожая ситуация неоднократно фиксировалась и в горных деревнях колониального Лаоса, где фиктивные местные чиновники и знать «предоставлялись» колониальной администрации по первому требованию, а уважаемые в сообществе фигуры продолжали решать все местные вопросы, включая и назначение фиктивных чиновников (Dournes, 1973). В данном случае речь идет не столько о «социальной структуре избегания государства» как социальном изобретении, предназначенном для ускользания от него, сколько о сохранении существующей эгалитарной системы посредством сложного театрализованного изображения якобы наличия властной иерархии.

Самое знаменитое этнографическое описание жизни горных народов по всей Зомии представлено в работе Эдмунда Лича, посвященной качинам, — «Политические системы горной Бирмы» (Leach, 1968). В центре этнографического анализа Лича находится социальная структура беглецов — форма социальной организации, спроектированная, чтобы помешать своему захвату и поглощению как шанскими княжествами, так и мелкими качинскими вождями

дува, пытающимися имитировать шанские властные и иерархические модели. Лич утверждает, если изложить его аргументацию кратко и схематично, то на территориях качинов сложилось три типа политической организации: шанская, гумса и гумлао. Шанская модель предполагает схожую с государством структуру собственности и социальной иерархии, во главе которой стоит наследный (в принципе) вождь и которая базируется на систематическом налогообложении и барщинном труде. Абсолютно противоположна шанской модель гумлао: она в целом отвергает наследственный характер власти и классовых различий, но не отрицает его в случае индивидуальных статусных позиций. Деревни гумлао не признавались англичанами, были независимы, обычно обладали ритуальной организацией и верили в божеств-охранителей, поддерживающих социальное равенство и автономию. Продвижение в «шанском» направлении предполагало более четкую иерархическую и ритуальную структуру и все большее сходство с государственными форматами социальности. Предпочтение модели гумлао, наоборот, означало дистанцирование от шанского государства и его практик. В исторической перспективе зафиксированы постоянные перемещения между двумя этими моделями.

Третья социальная форма — гумса — представляет собой некий смягченный вариант крайне жестких и стратифицированных типов передачи социального статуса по наследству, где берущий женщину в жены род считался социально и ритуально превосходящим род, отдающий ее в жены, что и определяло разделение на простолюдинов и аристократов. Лич убежден, что эта модель особенно нестабильна. Глава самого знатного рода в системе гумса фактически всегда был готов превратиться в мелкого шанского правителя. В то же время его усилия по приданию своему правящему статусу постоянства и превращению низкостатусных кланов в своих слуг могли породить восстания и бегство населения, а потому гумса склонна трансформироваться в направлении свойственного гумлао равенства.

Существует немало доказательств того, что множество горных народов использовали одновременно две или даже три модели социальной организации: одна копировала качинские деревни гумлао, другая скорее походила на стратифицированную гумсу, иногда возникали и аналоги мелких шанских княжеств. Складывается впечатление, что горные народы в материковой части Юго-Восточной Азии имели в своем распоряжении не только сельскохозяйственные культуры и технологии, способствующие бегству от государства, но и, как правило, включали в свой политический репертуар социальные модели, исключающие возможность становления государственности. При этом большинство горных народов создали «теневые», или «зеркальные», по отношению к государствам социальные системы: форматы их политического, культурного, экономического, а часто и религиозного позиционирования целенаправленно кон-

струировались как полная противоположность институциям и ценностям похожих на государственные образования соседей.

В результате три темы вновь и вновь возникали в нарративах и позиционных автопортретах горных народов: равенство, автономия и мобильность, но ни одна из них не имеет однозначной трактовки, хотя все три закодированы в материальной жизни в горах — в расположении поселений достаточно далеко от равнинных государств, в рассеянии населения, в общей собственности, в подсечно-огневом земледелии и выборе сельскохозяйственных культур. Например, поскольку формирование гумлао качинов связано с поддержанием эгалитарных социальных отношений посредством свержений или убийств превысивших свои полномочия вождей, исторические нарративы качинов были предостерегающими назидательными историями, призванными отрезвлять наследственных вождей с автократическими амбициями.

Свобода горных народов от устойчивых внутренних иерархий и процессов формирования государственности полностью зависела от пространственной мобильности, поэтому восстания гумлао были исключением, которое лишь подтверждало правило. Бегство, а не бунт, было фундаментом свободы в горах; куда больше эгалитарных поселений было основано беглецами, чем революционерами. Именно эта способность и реальная практика перемещений горных народов без колебаний и по малейшему поводу сводила с ума колониальные режимы и независимые государства в Юго-Восточной Азии. Дурной знак, серия заболеваний или смертей, политический раскол, принуждение платить дань, зарвавшийся староста, мечта, призыв почитаемого религиозного лидера — любая из названных причин могла породить миграционные процессы. Так, многочисленные попытки государства заставить каренов вести оседлый образ жизни и использовать их в своих интересах заканчивались неудачей, поскольку их поселения постоянно распадались на все более мелкие и меняли свое местоположение. Все, что мы знаем о горных каренах — их исторически обусловленный страх попасть в рабство, их самопозиционирование как преследуемых сирот, — позволяет предположить, что их социальная организация и подсечно-огневое земледелие были спроектированы таким образом, чтобы удержаться на безопасном расстоянии от любых попыток захвата, что также требовало формирования подвижных социальных структур. Обычно горных каренов описывают как народ, создавший независимое и слабо стратифицированное общество, которое легко распадалось на части по экономическим, социальным, политическим или религиозным основаниям (Walker, 1992: 50).

Сложно переоценить исключительную пластичность социальной организации, свойственной наиболее демократичным безгосударственным горным народам. Изменения социальной структуры, распад на части, разукрупнение, пространственная мобильность, восстановление прежнего облика, трансформация хозяйственных

практик здесь столь головокружительны, что само существование столь любимых антропологами социальных единиц — сел, родов, племен и деревушек — можно поставить под сомнение. Те социальные элементы, на которых историк, антрополог или, если уж на то пошло, чиновник должны фокусировать свое внимание, обретают почти метафизический характер. Видимо, особенно полиморфны низкостатусные горные народы, которые используют широкий спектр языковых и культурных практик, чтобы быстро адаптироваться к множеству разнообразных ситуаций. Таким образом, мы имеем дело не только с «медузообразными» племенами, но и с «медузообразными» системами родства, деревнями, институтами вождей и в некоторой степени медузообразными домохозяйствами. Вместе с кочевым земледелием этот полиморфизм прекрасно обеспечивал уклонение от поглощения государственными структурами. В случае опасности горные сообщества отступали, рассеивались, растекались, как мельчайшие капли ртути, будто действительно следуя правилу «разделяйся, чтобы не подчиняться».

Перевод с англ. И.В. Троцук

Библиография

Barfield T.J. (1993) *The Nomadic Alternative*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Barker G. (2008) *Footsteps and Marks: Transitions to Farming in the Rainforests of Island Southeast Asia*. Paper prepared for the Program in Agrarian Studies. Yale University.

Barkey K. (2008) *Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective*. Cambridge University Press.

Boserup E. (1972) *The Conditions of Agricultural Growth.* Chicago: Aldine-Atherton.

Burns T. (2003) *Rome and the Barbarians, 100 bc — ad 400.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Christian D. (2004) *Maps of Time: An Introduction to Big History*. Berkeley: University of California Press.

Clastres P. (1987) *Society Against the State: Essays in Political Anthropology.* Trans. by R. Hurley. N.Y.: Zone.

Conklin H. (1957) *Hanunoo Agriculture: A Report on an Integral System of Shifting Cultivation in the Philippines.* Rome: FAO.

Crosthwaite C. (1912) *The Pacification of Burma*. London: Edward Arnold.

Dessaint A. (1998) Lisu world view. *Contributions to Southeast Asian Ethnography*. no 2, pp. 27-50.

Diamond N. (1995) Defining the Miao: Ming, Qing, and contemporary views. *Cultural Encounters on China's Ethnic Frontier.* Ed. by S. Harrell. Seattle: University of Washington Press.

Dournes J. (1973) Sous couvert des maîtres. *Archive Européen de Sociologie*. no 14, pp. 185-209.

Edelman M. (1998) A Central American genocide: Rubber, slavery, nationalism, and the destruction of the guatusos-malekus. *Comparative Studies in Society and History.* no 40, pp. 356-390.

Erickson C. (1997) *Archeological Approaches to Ancient Agrarian Landscapes: Prehistoric Raised-Field Agriculture in the Andes and the Intensification of Agricultural Systems*. Paper presented to the Program in Agrarian Studies. Yale University.

Fiskesjö M. (1999) On the "raw" and the "cooked" barbarians of imperial China. *Inner Asia.* no 1, pp. 139-168.

Fiskesjö M. (2000) *The Fate of Sacrifice and the Making of Wa History*. Ph.D. thesis. University of Chicago.

Geertz C. (1980) *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali.* Princeton University Press.

Gellner E. (1980) *Saints of the Atlas*. L.: Weidenfeld and Nicholson.

Holmberg A.R. (1950) *Nomads of the Longbow: The Siriono of Eastern Bolivia.* N.Y.: Natural History.

Irons W. (1974) Nomadism as a political adaptation: The case of the Yomut Turkmen. *American Ethnologist*. no 1, pp. 635-658.

Jenks R.D. (1994) *Insurgency and Social Disorder in Guizhou: The "Miao" Rebellion, 1854–1873*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Khazeni A. (2005) *Opening the Land: Tribes, States, and Ethnicity in Qajar Iran, 1800–1911*. Ph.D. diss. Yale University.

Kirsch A.T. (1973) *Feasting and Society Oscillation*. A Working Paper on Religion and Society in Upland Southeast Asia no 92. Ithaca: Southeast Asia Program.

Lattimore O. (1962) On the wickedness of being nomads. *Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928–1958*. L.: Oxford University Press.

Leach E. (1968) The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Boston: Beacon Press.

Lehman F.K. [Chit Hlaing] (1967) Burma: Kayah society as a function of the Shan-Burma-Karen context. *Contemporary Change in Traditional Society*. Ed. by J. Steward. Urbana: University of Illinois Press. Vol.I.

Mann C.C. (2005) *1491: New Revelations of the Americas Before Columbus.* N.Y.: Knopf.

Mclean Stearman A. (1984) The Yukui connection: Another look at Siriono deculturation. *American Anthropologist.* no 83, pp. 630-650.

McNeill W. (2007) Frederick the Great and the propagation of potatoe. *I Wish I'd Been There: Twenty Historians Revisit Key Moments in History.* Ed. by B. Hollinshead, T.K. Rabb. L.: Pan Macmillan.

O'Connor R. (1996) Rice, rule, and the Tai state. *State Power and Culture in Thailand. E*d. by E.P. Durrenberger. New Haven: Yale Southeast Asian Council.

Rambo A.T. (1988) Why are the Semang? Ecology and ethnogenesis of aboriginal groups in peninsular Malaysia. *Ethnic Diversity and the Control of Natural Resources in Southeast Asia.* Ed. by A.T. Rambo, K. Gillogly, K. Hutterer. Ann Arbor: Center for South and Southeast Asia.

Sahlins M. (1968) *Tribesmen*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Sahlins M. (1974) *Stone Age Economics.* L.: Tavistock.

Schwartz S., Salomon F. (1999) New peoples and new kinds of people: Adaptation, adjustment, and ethnogenesis in South American indigenous societies (colonial era). *The Cambridge History of Native Peoples of the Americas.* Ed. by S. Schwartz, F. Salomon. Cambridge: Cambridge University Press.

The Man Shu (Book of the Southern Barbarians) (1961). Trans. by G.H. Luce, ed. by G.P. Oey. Data paper no 44, Southeast Asia Program. Cornell University.

Tribal Communities and the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives (2002). Ed. by G. Benjamin, C. Chou. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.

Walker A.R. (1992) North Thailand as a geo-ethnic mosaic: An introductory essay. *The Highland Heritage: Collected Essays on Upland Northern Thailand*. Ed. by A.R. Walker. Singapore: Suvarnabhumi.

White R. (1991) *The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815.* Cambridge University Press.

Yapp M. (1980) *Tribes and States in the Khyber, 1838–1842*. Oxford: Clarendon.

State evasion and state prevention: Geographical location, agriculture, and social structure

James C. Scott, Professor of Political Science and Anthropology at Yale University and Co-Director of Yale Program in Agrarian Studies; Yale University, Box 208209, New Haven, USA, CT 06520-8206; e-mail: james.scott@yale.edu.

The comparative study of the zones of refuge conducted by James Scott shows that despite their geographical, cultural, and temporal dispersion, they share a few common, diagnostic characteristics. If they were of any historical depth, most shatter zones to which various groups have repaired over time display something of the ethnic and linguistic complexity and fluidity. Aside from being located in remote marginal areas that are difficult of access, such peoples are also likely to have developed subsistence routines that maximize dispersion, mobility, and resistance to appropriation. Their social structure as well is likely to favor dispersion, fission, and reformulation and to present to the outside world a kind of formlessness that offers no obvious institutional point of entry for would-be projects of unified rule. Finally, many groups in extrastate space appear to have strong, even fierce, traditions of egalitarianism and autonomy both at the village and familial level that represent an effective barrier to tyranny and permanent hierarchy. Geographical remoteness, mobility, choice of crops and cultivation techniques, and, frequently, a "nohandles" acephalous social structure, are, to be sure, measures of state evasion. But it is crucial to understand that what is being evaded is not a relationship per se with the state but an evasion of subject status. What hill peoples on the periphery of states have been evading is the hard power of the fiscal state, its capacity to extract direct taxes and labor from a subject population. They have, however, actually sought relationships with valley states that are compatible with a large degree of political autonomy. In particular, a tremendous amount of political conflict has been devoted to the jockeying for advantage as the favored trading partner of one lowland emporium or another. Hills and valleys were complementary as agro-ecological niches. This meant in effect that adjacent valley states typically competed with one another to acquire hill products and populations.

Key words: state evasion; state prevention; geographical location; mobility; agricultural crops; egalitarian social structure; agro-ecological niches; political autonomy